

к с(498)
Д76
18607-к

дружба

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

2—1986



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ С ЧУВАШСКОГО

ЛАВРЕНТИЙ ТАЛЛЕРОВ

В ЭТОМ ОГРОМНОМ МИРЕ...

Рассказ

*Незабвенной памяти А. И. Миттова,
чувашского художника*

I

Анатолия Семеновича Аннушкина я знал давно, но лично знаком с ним не был — нам еще не доводилось поговорить лицом к лицу, пожать друг другу руки.

Свежим весенним вечером, прогуливаясь по улицам как обычно, я загляделся на ярко освещенные мансарды пятиэтажного дома, на мансарды, где располагались мастерские художников. И вдруг застыл на месте и посмотрел себе под ноги: прямо на моем пути, в двух-трех шагах, залиvisto, приседая и подпрыгивая от усердия, лаял белоснежный щенок. Из-за угла дома вышел высокий мужчина с тростью в руке. Его появление придало щенку больше смелости, и он, уже наступая на меня, залаял прямо-таки взахлеб.

— Ага, мы уже скандалим! — засмеялся мужчина, приближаясь. — Нехорошо. Бианка, нехорошо. Избравшим ночную прогулку вроде бы не к лицу дебоширить.

Я узнал его: это был художник Аннушкин, большой мастер пейзажной живописи. Мне как-то запомнились слова из статьи одного искусствоведа: «Весьма трудолюбивый и талантливый живописец, умеющий изливать свою душу сразу на полотне, минуя эскизную стадию работы». Анатолий Семенович — непременный участник всех коллективных выставок, нередко для него и персональные. На каждой из трех открытых сейчас в городе выставок — в художественной галерее, в новом кинотеатре и во дворце культуры хлопчато-бумажного комбината — работам Аннушкина отведено довольно много места.

А если уж говорить о моем отношении к произведениям Анатолия Семеновича, то я на каждую художественную выставку иду прежде всего с желанием увидеть его вещи, с желанием и надеж-

дой соприкоснуться с чем-то животрепещущим, волнующим и счастливым, и еще не бывало такого, чтобы я ушел обманутым. Мне всегда казалось, что художник пишет свои пейзажи только для меня, только знакомые мне места, более того, только любимые мной уголки земли. В каждой его картине не только видится трепетное состояние всего изображенного, но и слышится неповторимый голос, у каждого — свой, будь то человек, дерево, букашка, только что проклюнувшаяся травинка.

Так, любуясь пейзажами Анатолия Семеновича, я явственно слышу шелест волнующейся под ветром ржи, жалобу открывающейся калитки, всплеск добежавшей до берега волны, хор птиц в лесу, кудахтанье кур на сеновале, посвист крыльев ветряной мельницы. Мало того, меня начинает пронизывать несмолкаемая, щемящей нежности и доброты, неопишуемой красоты и чистоты мелодия. Если бы кто-то спросил и если бы кому-то и вправду понадобилось мое признание, я бы сказал так: любой пейзаж Аннушкина — для меня картина-симфония.

Ему в прошлом году исполнилось пятьдесят. Это высокий, широкоплечий, плотный, полнолицый и черноглазый человек. Начинающие сесть волосы подстрижены по плечи, густая короткая борода отпущена только на подбородке. Зимой его можно увидеть обычно в лохматой шапке с опущенными ушами и в черном полубухке, летом — в полотняной рубашке с короткими рукавами. Сейчас он был в тонком пальто, шея замотана шарфом, на голове — синий берет.

Я пожелал ему здоровья. Он, уже прошедший мимо, остановился, обернулся и цепко всмотрелся в меня.

— Ужель знакомый?... Погодите-ка, а вы не журналист Карпов? Точно, да, правда! Доброго здоровья и вам! Что, где-то здесь проживаете или так, по пути забрели?

— Здесь живу. Да вот — через улицу. Вышел подышать свежим воздухом, как говорится.

— Так мы же соседи! — шагнул ко мне художник. — Вот мой дом. — И он показал на дом художников.

— Мне казалось, вы жили в другом конце, в западной части города...

— Было, там жил. Две недели назад поменялся. Захотелось поближе к студии. Теперь вот и из дома не надо выходить, чуток поднялся — и на рабочем месте. И студия рядом, и сад недалеко. Видели, отправляясь за Волгу, на высоком берегу дачки-скворешни? Так это наш коллективный сад. Ну-с, раз уж мы все вышли подышать свежим воздухом, не составим ли друг другу компанию?

В тот первый вечер мы сделали три круга по моему привычному маршруту.

На магистральной улице нескончаемым потоком, впритык друг к дружке, ослепляя прохожих светом своих фар, шли машины. Аннушкин подхватил растерянно закружившегося щенка на руки и отпустил его только тогда, когда мы, перейдя шумную улицу, углубились в тихие переулки меж высоких домов.

Щенок этот — презабавное и милое существо. Вислые уши, короткий и тупой носик, пушистый белый комок шерсти, только глазки да кончик носа чернеют. И весь он до того ладен и к месту в этом мире, что возникает подозрение — а не выдуман ли он кем-то умным и добрым себе на радость и на удивление людям?

Задрав голову, загнув в колечко острый хвостик, бежала Бианка впереди нас легко и смело. Совсем недавно пришедшей в этот мир, ей, должно быть, очень нравилось делать открытия. Загадочное и чудесное попадалось на каждом шагу, за каждым углом, и ко всему хоть на миг надо было приткнуться носом, замереть, подумать. Рывком налетел сзади ветер — стоп! — надо моментально обернуться и, задрав нос повыше, поводить им из стороны в сторону, чтобы и тут успеть узнать как можно больше. Попалась открытая дверь — пока дойдем только до порога: дальше кромешная тьма, полная неизведанных запахов. Бианка делает вид, что ее такие вещи ничуть не интересуют и, будто вспомнив о нас, приотставших, вскачь возвращается назад.

По всему видно было, ей нравилась сама эта вечерняя прогулка с хозяином, и вполне, может быть, она полагала, что не хозяин — ее, а она хозяйина водит по загадочному городу.

Аннушкин шагал быстро, непрерывно разговаривая. Трость ходуном ходила в правой его руке. Она то вертелась пропеллером в пальцах, то описывала в воздухе фигуры, иллюстрирующие рассказ хозяина, то гоняла по тротуару льдинки, и лишь ненадолго успокаивалась под мышкой или за спиной. Левая рука художника, наоборот, неподвижно покоилась в кармане пальто, словно давая полную волю правой. Голос у Анатолия Семеновича был густой и мягкий, временами наполненный иронией.

— Я не очень шустро шагаю? — спросил он и, не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Как я заметил, ты то и дело пишешь о писателях, регулярно извещаешь читателей о том, какие вопросы обсуждают писатели на своих собраниях. Можно сказать, не представляешь без внимания и композиторов. А вот нас, художников, обижаешь, дорогой. Да, так: оби-жа-ешь! Я видел тебя на последних двух выставках, не ошибаюсь? Однако в газете — ни одной твоей строчки о них. Не думаю, чтобы у тебя не возникло никакой мысли. У человека, пишущего о произведениях художественной литературы, должно хватить остроты глаз и пытливости писать и о мастерах кисти.

Я почувствовал, как жар заливает мне щеки. Меня поразило

и устыдило не столько то, что Аннушкин может высказать человеку свои мысли напрямик при первой же встрече, сколько то, что этот большой художник, автор картин, выставляемых как в Москве, так и за рубежом, успевает следить и дотошно следит и за тем, о чем пишет или не пишет какой-то малоизвестный журналист.

— Так оно, но я же не искусствовед, — повинился я. — По-моему, писать о выставках художников — дело специалистов. Они и видят глубже, и думают шире, и оценивают точнее. И газета никогда не отказывала им в трибуне.

— Это та-ак... — трость спряталась за спиною Анатолия Семеновича. — Но ведь не было бы лишним и ваше, газетчиков, слово. Чего не хватает некоторым нашим искусствоведам? Что лишнее в их статьях? Чутья им не хватает. А искусство — сплошь чутье. Даже рассказывать о нем надо уметь с большим чутьем, с большой душой. Что лишнее? Они же приписывают нашим картинам то, что в них и быть не бывало, приписывают выдуманное самими, судя о конкретной картине так, что это свободно можно приложить к любой другой, в каждой их статье полным-полно тех избитых трафаретов, которые приложимы в рассуждениях о любой вещи, а если по правде, не приложимы нигде и никогда! Вот так.

— Уничтожили вы искусствоведов! — засмеялся я.

— Какое там! Мы им эти вещи в глаза говорим. «Стараясь казаться умницами, не пишите заумь, покажите нам, что в нас действительно есть, чего не хватает — вот что нам нужно», — говорим. Но пока что без толку.

Мы опять вышли на нашу оживленную улицу и остановились, поджидая приотставшую Бианку. Она сидела шагах в двадцати позади и отчужденно смотрела на нас. Анатолий Семенович принался подзывать и по кличке, и посвистом, однако та не двигалась с места, мало того, совсем отвернулась.

— А знаешь, почему обиделась? — спросил Аннушкин, теребя короткую бороду. — Забыли о ней, занятые своим разговором, не обращали на нее внимания — вот и надулась, чертовка. Все есть у нее — обиды, заботы, радости, ликования, все-все. Иногда лежит-лежит и так шумно вздохнет, будто устала от раздумий. Бывает, шатаюсь по комнате туда-сюда, а она как глянет на меня исподлобья — ну только слов ей не хватает сказать: «Чего шатаешься — присел бы!» Будь это старая собака, может, и не заметил бы в ней этого проявления чувств, но это же — полуторамесячный жалкий щенок!

Анатолий Семенович со смехом присел на корточки и начал подзывать Бианку, как делающего первый шаг малыша, протягивая руки и причмокивая. Щенка кинуло вперед, словно взрывом. Мчался он на зов, высоко вскидывая передние лапы, в нескольких

шагах заизвивался, закидал хвостом из стороны в сторону и с маху ворвался в объятия хозяина.

— Во-о-от та-а-ак! Молодчага, моя малышка! Совсем молодчина! — Аннушкин упрятал щенка за пазуху, продолжая разговаривать как с ребенком. — Не замерзла, дрожишь вся? Или это у тебя радость означает? Вот придем домой, и теплого молочка тебе дам. Маленькие все молоко любят и потому быстро растут.

— А она в большую собаку вырастет? — спросил я.

— Нет, пожалуй, нет. Мать не очень рослой была.

Бианка все не могла успокоиться за пазухой — ворочалась, копошилась и вдруг звонко залаяла.

— Вот еще! И за пазухой надо лаять? — Аннушкин посмотрел туда, куда лаял щенок — вверх. — Что ты там видишь? Ах, вон что — луну-у-у! Да, это луна меж туч крадется, но она ничего плохого против нас не замышляет... Вот так, Бианочка, всего полно на белом свете. И все это ты увидишь, всему успеешь надивиться...

Уже вторую неделю по вечерам мы ходили вместе: Анатолий Семенович, Бианка и я. Чтобы не разминуться, мы договорились так: в условленное время выйдя из дома, я должен шагать обычным своим маршрутом по ходу солнца, а Анатолий Семенович и Бианка — против солнца. И совсем немного пути прохожу я, как вижу впереди мельтешенье Бианки. Теперь и я стал для нее близким другом — едва увидев меня, она летела ко мне как на крыльях, ластилась у ног, встав на задние лапки, приплясывала, повизгивала, всячески извивалась, но глаз не отрывала, и столько прямо-таки человеческих чувств было в ее глазах, что только слов ей не хватало сказать: «Видишь, как я рада нашей встрече, как я истосковалась по тебе, но теперь уж погуляем вместе, правда?!»

Она заметно выросла, наполовину выпрямились ее уши. И все же ненамного больше кошки было это крохотное, милое существо.

За сутки у Анатолия Семеновича накапливалось немало новостей о Бианке.

— Сегодня поругать ее пришлось, да крутенько.

— За что же так?

— Спозаранку за машиной с лаем погналась. Похоже, машины донельзя раздражают ее. «Хозяин мой, глядите, как степенно всегда вышагивает, с чего же вам летать с дымом-грохотом?!» — думает, наверное... Нет, так не пойдет, придется покупать ошейник и водить ее на поводке. Погонится вот так за одной машиной — под другую угодит.

Бианка сидела перед нами, пошевеливая хвостиком и перекладывая голову с плеча на плечо, виновато поглядывала на хозяина.

— Ты только погляди на нее, — перешел на шепот Аннушкин. — Ведь все понимает! Как слушает! Чуть повысь голос — тут же

поймет: неладно. Как ребенок, чисто ребенок! Когда ругаешь, слушает, понунив голову, но... делает по-своему. А я ее и за это люблю. За то, что как ребенок и глупа, и шустра, и мила. И как я ее посажу на привязь? Если она ждет не дождется этой прогулки, как я осмелюсь надеть на нее ошейник?!

Поигрывая с Бианкой, разговаривая о жите-бытье, мы прогуливались иной раз и все три часа. Теперь между нами уже не было той первоначальной осторожности в выражении своих чувств и мыслей, которая сдерживала нас в тот вечер. Теперь мы могли говорить друг другу и что на ум взбредет, чтобы не прерывался разговор. Делились и сокровенным, как бывает между настоящими друзьями. Могли и безбоязненно подкалывать один другого.

У Аннушкина была и такая привычка: заметив что-нибудь или вспомнив о чем-то, сказать: «Погоди-ка!» и, прервав свой или чужой рассказ, начать совсем о другом. «Погоди-ка! Когда в природе покой, эти тонкие листья зеленым-зелены, но стоит подняться ветру — как бы обесцвечиваются. Догадываешься, почему? Потому что ветер выворачивает их изнанку. А изнанка листьев — белесая... А на моих картинах листва при любой погоде одним цветом. Вот тебе на! Как же до сих пор не замечал этого?!»

Сейчас Анатолий Семенович левой рукой оперся о мое плечо и указал тростью в сторону телебашни:

— Погоди-ка! Посмотри вон туда. Видишь, как телебашня работает?

— Хоть и густой туман, чуточку вижу...

— Да нет, не саму башню, а именно то, как она работает, улови ты! — тыча в ту сторону тростью, сжал мне плечо Аннушкин. — Ты не только телебашню — и другие вещи примечай. Клубы тумана, окружающие здания. Башня сама выше облаков взметнулась. Оттуда, из заоблачной выси, она видит и слышит весь мир, а увиденное и услышанное уже нам передает. Видишь, от нее клубы тумана во все стороны волна за волной убегают? По-моему, это и есть телеволны. Эх, сейчас бы в руки кисть да мольберт, да картон... Ладно, дома постараюсь все это припомнить. Если все не успеет выветриться из души... А ведь в творчестве только и нужны эти вовремя схваченные мгновенья! — тяжело вздохнул Анатолий Семенович.

Он долго шел молча, глядя под ноги, и раздумчиво, влад своим невеселым мыслям, кивая головой.

— Помнится, у Гете есть слова о двух видах творчества. Первый вид — это когда автору все видится сразу, до мельчайших подробностей, иными словами, удается быстро, сразу. Второй — когда вещь дается в труднейших поисках, рождается в муках.

— Ты себя творцом какого вида считаешь? — спросил я, уже предвидя его ответ.

— По мне, творчество тогда только творчество, когда удается быстро, сразу. По мне творчество — это праздник. Работа без радости, в терзаниях — бессмысленная трата и сил, и времени. На вещь, сделанную с удовольствием, с наслаждением, и посмотреть любо-дорого: в ней — острота ума, солнечная улыбка, звенящая мелодия.

— Лермонтов последнюю часть стихотворения «На смерть поэта» написал набело без помарок и поправок. «У врат обители...» и многие другие стихотворения и поэмы написаны им таким же образом. А вот у Гоголя совсем иначе: он свои произведения переписывал заново по несколько раз, маялся в бесконечных исправлениях. Так что нельзя утверждать, что только быстрота и легкость приносят удачу, — возразил я, не вполне согласный с Аннушкиным. — Наверное, и в мучительных поисках есть своя прелесть.

Задумавшись, Анатолий Семенович промолчал, потом глубоко вздохнул:

— Завидую...

— Кому?

— Тем, у кого хватает терпения преодолевать все муки творчества... Да, пожалуй, так оно и должно быть: художник должен уметь работать не только когда кисть или перо делают свое дело играючи, но и когда надо осиливать все встающие на пути преграды, не опуская рук. Не ждать, когда посетит тебя вдохновение, а вызывать его в процессе самой работы... Кто-то, кажется, уже говорил такое?

— Кисть твоя всегда с подъемом работает, должно быть, знаешь, как вдохновлять себя. Все вещи удаются тебе, — сказал я, подозревая, что Аннушкин готов заняться самобичеванием.

— Пока бог миловал...

Тут я поинтересовался, над чем он сейчас работает. Он коротко и сухо ответил на это и добавил:

— В сентябре должна открыться Осенняя выставка. На нее и хочу представить свои новые картины. До сих пор мы организовывали только Весенние выставки, с нынешнего года традиционными должны стать и Осенние. Так мы решили.

В один из вечеров Анатолий Семенович рассказал, как он стал собаководом, как нашел Бианку.

— Если хочешь знать, — всохотнул он, — до нынешнего я никогда не привечал кошек и собак, особо не заглядывался на них. Одиннадцать душ было в нашей семье, цену хлеба мы все хорошо знали сызмала. Держать собаку для нас было непростительной роскошью. Так что я вырос с сознанием того, что собака — совершенно бесполезное существо, которое не грех и прогнать палкой, запустить вслед камнем. До привода Бианки домой я не

понимал людей, державших в городских квартирах собак, не понимал и не старался понять. На полуковры, кругом — дорогая модная мебель, и тут еще — собака! Что сие означает? Погоня за модой? Изнывание от безделья? Вот как я думал. А теперь вот... Сейчас мне кажется, что я и не жил без Бианки, что без нее семейная жизнь никогда не была и не могла быть полной... Ну, так слушай, коль охота, как вошла Бианка в нашу семью.

О том, как Анатолий Семенович нашел Бианку, прости, дорогой мой читатель, я расскажу своими словами.

...Впереди — крутой берег Волги, с двух сторон — два глубоких оврага. И меж ними, охватывая близкую нефтебазу полукольцом, раскинулся коллективный сад. В последний раз здесь Анатолий Семенович был зимой, в беспросветную бурю. Заявившись вновь, он увидел в саду остатки сугробов лишь возле заборов и по-за домиками. Влажно чернела оттаявшая земля, грудь наполнилась ее бражным духом, настоящим на терпком аромате набухших почек. На стволах деревьев и окнах играли сполохи солнечных зайчиков, пасущихся в бесчисленных лужицах. С просыхающих ягодных грядок поднимался парок, тут же истаявающий в солнечных лучах.

Шел Анатолий Семенович по дороге, засыпанной гравием, в благодушном умиротворенном настроении, как вдруг со стороны левого оврага на дорогу перед ним выскочила небольшая белая собака, мимоходом взглянула на человека и спокойненько побежала впереди него в трех-четыре шагах. Аннушкин прошлым летом часто видел ее. Она выросла здесь же, в саду, на одном из участков, неподалеку от нефтебазы. Хозяин с наступлением зимы не взял собаку домой, посчитав ее, должно быть, никчемной дармоедкой — жить хочешь, живи сама, как знаешь. Иногда та собака забегала и на участок Анатолия Семеновича. В поисках съестного шарил по кустам и закоулкам, издали принявлась к запахам, доносящимся из домика. Когда Аннушкин бросал ей кусок хлеба, собака, какой бы голодной ни казалась, принималась есть неторопко, аккуратно или столь же чинно, совестливо уносила подальше куда-нибудь в кусты, подальше от людских глаз.

Чтобы попасть к себе на участок, Аннушкину надо было делать несколько поворотов по дорожкам-улицам. И сколько бы он ни поворачивал, белая собака все бежала впереди него, как своя. Что за оказия! В конце концов она вошла на его участок и напрямик нырнула под веранду...

Спеша переделать все урочные дела, Анатолий Семенович было и думать забыл о собаке и ее странном поведении, как вдруг понадобилось заглянуть под веранду, где у него хранились кое-какие вещи, и он встретился с двумя парами мерцающих глаз: из затемненного тесного пространства настороженно смотрели на него та самая собака со своим крохотным щенком.

— Погоди-ка! — ближе наклонился Анатолий Семенович. — Что сие означает? Кто дал вам волю хозяйничать в моем саду? Сейчас я разберусь...

Гости смотрели на него безбоязненно, даже вроде бы с надеждой, и он невольно рассмеялся.

— Ну, мать, учудила! Ты этого белого наперсточка здесь родила или только притащила погостить? Других там у тебя нет?

Встав на четвереньки, Аннушкин принял головою к земле, чтобы лучше оглядеть все пространство под верандой, и с облегчением убедился, что никаких других гостей там нет.

— Учудила, учудила, мать. Хозяин не жалуется тебя, так ты на меня понадеялась, то есть, мне поверила? — покачал головой художник, вставая на ноги. — Только ведь, как на грех, и я с вашим братом никогда дружбу не водил. Вот возьму сейчас твоего щенка за шкурку и отнесу на участок твоего хозяина. И ты следом поплетешься. А куда тебе деваться? И мне делать нечего: вот-вот нагрят жена с дочерью, дочь увидит твою белянку и, влюбившись, унесет ее домой, в город. Не-ет, не по душе мне такой оборот дела.

Поразмыслив еще немного про себя, Анатолий Семенович и вправду поймал щенка и понес его, сопровождаемый встревожившейся собакой, на их родной участок.

Тот был разбит на склоне оврага и доходил до самого его дна. Кусты смородины задавленно виднелись из прошлогоднего бурьяна. Запущенные яблони и вишни, раскинув во все стороны корявые ветви, казались, зывали о милосердии. Все пространство сада оцетинилось дикими порослями. Соседи справа и слева на этом же склоне содержали свои сады как тому и быть положено, их участки просто радовали глаз. А этот хозяин даже землю как следует не обработал, не удобрил. Что тут поделаешь, коль у человека душа не лежит к садоводству....

Неподалеку от калитки, возле промоины, идущей вдоль забора, стоял сколоченный из горбылей сарайчик. Рядом для будущего домика, что ли, были сложены кирпичи, и тут же валялась кадка с железными обручами. Догадавшись, что это и есть собачья конура, Аннушкин заглянул в нее и увидел слежавшуюся мокрую тряпицу. Чуть пониже по склону он заметил покривившееся огородное пугало. Сходил туда, содрал с него «рубаху». Когда вытащил из кадки старье, даже откинул голову назад: в ноздри шибануло керосином. И только теперь Анатолий Семенович вспомнил, что мазутный дух преследовал его с первого шага на этом участке. И он огляделся, внимательно проследил взглядом снизу доверху по склону оврага. Из-под забора нефтебазы струился ручеек, расцвеченный всеми цветами радуги — вешняя вода пополам с неф-

тепродуктами, — добежав до кадки, образовывал омуток и только после этого сбегал в промоину.

— Вот почему ты покинула это место, — сказал Аннушкин беспокойно снующей вокруг него собаке. — Н-да-а, хотел бы я знать, кому захочется лежать в луже, да еще такой вонищей!

Он перекатил кадку на сухое место, нутро ее хорошенько протер нарванным бурьяном, расстелил там рубашку с пугала, запустил щенка. Дождавшись, когда его мать заберется туда же, покинул этот несчастный участок.

Довелось ему пойти в сад через три дня. С утра и на этот раз день был тихий, солнечный. И уже дорогой, прямо ни с того ни с сего, вдруг подул сильный ветер, припустил дождь. Чтобы поскорее попасть в свой домик, Анатолий Семенович пошел не через главные ворота, а с краю правого оврага, что наполовину сокращало путь. Шагая вдоль забора, он вдруг на дне оврага увидел что-то белое. Всмотрелся и оторопел: то была знакомая белая собака, по всем признакам, дохлая.

«Пропаала бедная головушка. — подумал в оцепенении Аннушкин. — Что же случилось с тобой? Вроде бы бодренькой была...» И тут вспомнилось Анатолию Семеновичу, что три дня назад как раз в этой стороне слышен был ружейный выстрел. Три дня назад, часа три спустя после того, как он устроил бедняжку со щенком на их участке.... У какого бессердечного человека поднялась рука на эту невинную животину? Кому она помешала?

Размышляя так, он поровнялся с участком хозяина собаки. Ливневые потоки, казалось, заливали всю ширь участка, унося и без того бедную почву, прорывали новые промоины. Вдруг сквозь их клочкотание почудилось, что ли, донеслось до Аннушкина скуление щенка. Он внимательно поогляделся и, вправду, внизу на куче кирпича увидел недавнего своего знаконца.

И спереди и сзади него образовались потоки. Они уже унесли кадку-конуру и, прибив ее к забору, играли, как с поплавком.

Щенок крутился на кирпичах, приглядываясь, куда бы лучше перепрыгнуть, найти себе спасение, однако неуверенный ни в своих силах, ни в надежности окружающего мира, не осмеливался на прыжок, у него оставалась надежда, последняя, — дожидаться чьей бы то ни было помощи, и он скулил, скулил, взывая ко всему белому свету сразу, авось, кто и услышит.

Вдруг стопа кирпичей под ним покачнулась и, подмытая потоком, повалилась на бок, рассыпалась, щенка выбросило в бурлящие воды, понесло, завертело, покрывая с головой, выбрасывая на гребни волн.

Дальше было как в кино: много движений, но все картинные. Аннушкин летел, хватаясь то за яблони, то за забор, скользил, припадал, воспарял.

Поднявшись наверх, он не пошел к себе на участок, а прямоком подался в город, домой...

Анатолий Семенович засмеялся и вздохнул:

— Вот так я вернулся на квартиру со щенком. Мы единодушно называли его Бианкой, Бианка... Она всем нам пришлось по душе. И жене, и сыну, и дочери... Раз уж она нам доверилась, и мы не могли от нее отвернуться, полюбили ее как могли, насколько могли... И утром, и вечером — разговоры только о ней. Кто бы ни вернулся домой — сразу же: «Где ты, Бианка?!» Подбегает к тебе и ластится, встав на задние лапки, передними обнимает тебя, попискивает что-то, вроде бы жалуется и в то же время радость свою выражает.

— Надо же... — простонал я, растроганный.

— Нет, ты подумай, разве нам, людям, не нужна эта любовь братьев наших меньших? — на высокой ноте сказал и Аннушкин. — Как нужна человеку нуждающаяся в его защите, беззаветно доверяющая ему, любвеобильная бессловесная душа! Пойми ты: с появлением Бианки не стало в квартире нашей былого порядка. Ковры вечно сгружены, с кресел и со столов накидушки и скатерти сдернуты и скомканы. Обувь на месте не находишь, под рукой не оказывается ни одна одежда. Бросишь ей кость на кухне — нет, надо ее погрызть где-нибудь у всех на виду, скажем, перед телевизором. И все эти ее фокусы нам безбожно нравятся! Что бы она ни выделявала — только радуемся! Без смеха не можем отругать ее за порчу дорогой мебели: она грызет, а мы хохочем и пальчиком грозимся. До чертиков рады: у малышки нашей зубки прорезаются!

II

Пришла осень. Около полумесяца полоскал дождь. За это время мне так и не довелось увидаться с друзьями — с Анатолием Семеновичем и Бианкой. А тут по газетным делам выехал в районы и провел там больше недели. Вернувшись в редакцию, от товарищей узнал, что в художественной галерее открылась Осенняя выставка. В конце рабочего дня, как ни устал, отложить на завтра не сумел — побежал на выставку.

Вбежал в вестибюль, раздеваюсь и слышу, на лестнице, ведущей на второй этаж, немолодой мужчина и парень разговаривают:

— Богатая выставка, — говорит молодой. — Многим авторам дали место. Разнообразие в жанрах. И в стилях. И у каждого свой взгляд на жизнь. Жаль, Аннушкин не представлен.

— Я это же хотел сказать, — поправил очки и покачал головой старший. — Не заболел ли он? Многие художники сами присутствуют

тут, а его что-то не видно. Странно: такая большая выставка — и без картин Аннушкина.

Вот оно как... Прибежал сюда несмотря на усталость, после дальней дороги и, услышав такое, расхотел знакомиться с выставкой. И все же взбежал на верхний этаж, пошел из зала в зал в поисках картин Аннушкина. Ведь был уверен, что те двое внизу говорили всерьез, а все же... а все же в душе надежда теплилась. И потому бегал по залам. Да и помнил, как сам Анатолий Семенович тогда говорил: три картины для выставки написал. Неужто ни одну не выставил?.. Если так, то гадай не гадай, что-то приключилось с ним. Уж не свалился ли? Перебивая свои дурные предчувствия, я все бегал из зала в зал, надеясь успокоить себя при виде хоть одной картины его.

Обеспокоенный, я через двадцать — двадцать пять минут вышел из галереи и напрямик поехал к Анатолию Семеновичу.

Дверь открыл его сын, студент. Сам художник сидел в большой комнате на диване и читал журнал. Перед ним горел электрокамин и на журнальном столике дымилась глиняная кружка с кофе. И на столике, и на небрежно расставленных стульях, и на диване, и прямо на полу грудились номера журнала «Искусство» разных лет и книги по живописи. В углу работал телевизор: в безрадостной тишине комнаты неуместно жизнерадостно пела женщина. Но кадры прыгали.

Я внимательно всмотрелся в Аннушкина: слушает ли? Нет, не похоже. Подав мне руку, сдвинул журналы в сторону, предложил сесть рядом. Поверх шерстяного свитера он надел длинный халат, на голове — всегдашний берет, на ногах — носки и мягкие домашние туфли. Несмотря на раскаленный электрокамин, в квартире было прохладно: центральное отопление еще не работало.

— Не знаешь, когда затопят? — спросил Аннушкин, не отрываясь взглядом от журнала. — Неужели до самого октября будут морозить? Тебе бы не раздеваться...

Он поднялся и принес из другой комнаты куртку-безрукавку, накинул на мои плечи. Сел и вновь уткнулся в журнальные страницы. На вид он был здоров, и все же что-то в нем было не так: грустный, поникший, нет и в помине всегдашней бодрости. Я шагнул к телевизору, надеясь сфокусировать изображение. Но мне это не удалось.

— Выключи, — махнул рукой Аннушкин. — С утра пыхтит.

Он отложил журнал на стоящий рядом стул, уставившись в пол, посидел молча, барабанив длинными красивыми пальцами по обложке. Было похоже, что усовестился читать при госте, но и не нашел в себе сил заговорить.

Я поведал о том, как съездил по районам.

— Кофе выпьешь? — спросил он, едва я примолк.

— Пожалуй! — взбодрился я, желая оживить наш разговор.

Аннушкин вышел на кухню. Я взял отложенный им журнал. Он открылся на только что читанной странице, и мне бросились в глаза подчеркнутые карандашом слова: «Живопись — неимоверно трудное искусство. Здесь преуспевают только гении. Бесталанного, но упорного художника понуждает трудиться с необыкновенной прилежностью, безвольных заставляет искать короткие и легкие пути к успеху. Живопись для художника — и драма, и героизм. Здесь не у каждого хватает сил». На полях — написанное от руки: «Понимаю, живопись признает только героев. Я же — бессильный человек, привычный к короткой и легкой дороге. Подобные мне не нужны искусству».

Я поднялся и зашагал по комнате.

Что же происходит? Зачем понадобились Аннушкину эти слова? Неужели только в их поисках перечитал он столько журналов и книг, пораскидал их вокруг? Конечно, есть в этих словах своя непреложная правда, но что нового для себя нашел в них Анатолий Семенович? Пусть только теперь проникся он этой правдой, пусть только теперь прочувствовал ее, но зачем же так категорично, откровенно, будто и не было до этого достижений?! Почему? Что случилось?

Аннушкин принес чашку кофе и принялся сгребать в кучу все журналы и книги.

— Знаешь ли, Сергей Андреевич, я... я никудышный художник, — впервые посмотрел мне в глаза хозяин.

— И Чехов считал себя никудышным драматургом. Но вскоре самые знаменитые театры принялись ставить его пьесы. Не понимаю тебя, Анатолий Семенович, уж не метишь ли и ты в классики? — пошутил я, будто не замечая его переживаний.

— Не шути так, не надо! — помотал головой художник, не сводя с меня глаз. — Если хочешь знать, мне совсем не до шуток. Кажется, настало время подведения итогов. Вот, подбил бабки — и одни нули в итоге. И нет больше сил. Понимаешь ли ты, все, что сделано до сих пор, — сделано одними руками, сделано без души, что ли, без...

— Нет, не понимаю. Анатолий Семенович! — резко перебил я. — Скажи, пожалуйста, что это творится с тобой? Откуда взялись у тебя такие черные мысли?

— Начал писать новую картину, — сел на диван Аннушкин. — Не с натуры какой-нибудь, не выходя из мастерской. Назревшее в душе, продуманное тысячу раз... И вот, убей, не выходит на полотно. Хочется сделать как никогда до сих пор. Начинаю и бросаю, начинаю и бросаю. На уме одно, кисть выводит совсем другое... А правду сказать, в голове сплошной туман, и, сколь ни маюсь, нужное так и не находится. Оно, может, и найдется со

временем, но... Не привык я работать так — по принуждению! Да...

Аннушкин поднялся и, заложив руки за спину, пошел к окну.

— Это же хорошо — уметь критически относиться к своей работе! — постарался я успокоить его. — Но надо ли так уж убиваться? Причины нет! Народу нравятся твои картины...

— Ай, не к месту твои слова, Сергей Андреевич! — горько усмехнулся художник. — Слишком доверчив и добр наш народ, поэтому и захваливает нас. А мы — и ну давай спешить, и ну давай мазать — картину за картиной, картину за картиной, лишь бы успеть к очередной выставке, даже не удосуживаемся подумать, а нужны ли наши скороспелки народу! Вот ведь как оно... И теряет художник всякое чувство меры, чувство собственного достоинства. Если бы и Суриков так работал? Вышел бы из него Суриков? Его великие творения на пальцах можно сосчитать, однако какая сила, какие чувства выпирают из них, а? Вот где источник бессмертия художника!

Он присел на краешек дивана, приобняв правое колено, покачался взад-вперед и опять вскочил на ноги.

— Так, так, дорогой! Картины художника — не обои и не штукатурка для прикрытия или заделывания дыр и трещин на стене. Они — произведения искусства. Так что нам надо думать не о том, что лишь бы заполнить стены выставочных залов, а как раз о том, как подарить народу картины, показывающие красоту и величие нашей жизни, воспевающие глубину и полноту наших сердец. Пусть будет мало таких картин, но пусть они будут все такими!

Аннушкин подошел ко мне, постоял молча, будто собираясь что-то сказать, но круто отошел в сторону.

— Больше месяца маялся с новой картиной, так и отступился! — зло рассмеялся он. — Разве это не слабохарактерность! Разве это не говорит о привычке делать только доступное!

Должно быть, я не нашел чем возразить или просто не захотел, и разговор наш незаметно перешел в другое русло, на житейские темы. Тут Аннушкин немного оживился, повеселел.

Пришла пора прощаться. Я еще давеча, едва войдя в квартиру, заметил отсутствие Бианки и хотел было спросить, где она, но в столь трудном разговоре о заботах художника совсем забыл об этом. И теперь уже у двери, едва я упомянул о нашем маленьком друге, рука Аннушкина, потянувшаяся было включить свет в прихожей, дрогнула и скользнула вниз по стене. Хоть здесь и был полумрак, я заметил, как изменилось его лицо — погасли глаза, дрогнули губы.

— Бианка? — переспросил он, явно выигрывая время, пряча глаза. — Бианка... Нет уж Бианки... Потерялась Бианка... по дороге в сад...

«Не здесь ли кроется причина душевной сумятицы Анатолия

Семеновича? Похоже, он простить себе не может пропажу Бианки!» — подумал я и обозвал себя самыми последними словами за бестактность, поспешил успокоить хозяина:

— Да ладно тебе, чего уж тут... Из-за собаки вешать нос...

— Верно, верно, — согласился Аннушкин сдержанно. — Подумаешь, собака...

Я и ждал того, что он согласится со мной — пропажа собаки не может быть причиной самобичевания, ждал от него именно этих слов, а вот услышав, уставился на него в изумлении: неужели и впрямь его ничуть не волнует исчезновение нашего маленького друга?

Но художник, рывком наклонившись мимо меня, открыл дверь.

«Нет, в творчестве Аннушкина начинается новый этап, он поднимается на ступеньку выше, и только отсюда его смятение. Это, конечно же, не дается безболезненно. Так что, Анатолий Семенович, пусть предстоящие работы принесут тебе славные достижения!» — с такими мыслями я вернулся домой.

Но оказалось, я все истолковал тогда не так — и то, почему он изменился в лице при одном упоминании имени Бианки, и его слова: «Подумаешь — собака...», поспешно отвернутую мне дверь. Трудно было ему начинать разговор о Бианке, стоять перед гостем со вновь всколыхнувшимся горем. Потому он и сделал вид, что соглашается со мной, потому и поторопился выпустить меня из своей квартиры. Кто знает, может, из-за моих равнодушных слов о никчемности переживаний из-за собаки, слов, причинивших ему новую боль, он и поспешил расстаться со мной...

Так что Бианка, только Бианка потрясла тогда ему душу. До конца понял это я попозже.

На другой вечер, надеясь увидеться с Анатолием Семеновичем, я пораньше вышел на прогулку, несколько раз обернулся по нашему маршруту, но так и не встретил его. В течение недели не пропустил ни одного вечера, и все же каждый раз приходилось прогуливаться в одиночку. По дорожкам, по которым когда-то так счастливо прогуливались в обществе Бианки, плестись одному-одиношеньке, — может ли быть еще на свете более печального занятия?! Однажды я вернулся домой с полдороги, а потом и совсем не вышел.

В середине октября выпал первый снег, похолодало. В воскресенье я спустился на берег Волги и вытащил свою лодку подальше от воды. Потом, не в силах расстаться с Волгой, пошел по ее берегу вверх.

Под ногами сытно урчал мокрый снег, в трех шагах, справа, лениво катила свои волны потемневшая река. Снежная шуга, крохотные льдинки плыли вниз бесконечной чередой, как вечернее стадо по улице.

Слева, на крутом берегу, показались выстроенные строгими рядами домики коллективного сада. Вскоре попалась лестница, спускающаяся по пологому ложку до самого берега. Я поднялся по ней и попал в самую середину сада, пошел по улочке, с любопытством поглядывая по сторонам. И застыл на месте...

Из одного домика вышел Аннушкин, запер дверь и скрылся в глубине участка.

Значит, это и есть его сад, его домик. Небольшой квадратный участок, высокий, с чердаком, дощатый домик, крытый шифером и покрашенный зеленой масляной краской. Яблони, вишни, малина, кусты смородины...

Раз уж обнаружил, зайти посмотреть. Я потихоньку, чтобы не скрипнула, отворил калитку и, обойдя домик, шагнул в глубину участка.

Анатолий Семенович стоял у цветочной клумбы. Выстояв заморозки, продолжали жить только астры. Их крайние лепестки, опаленные морозом, почернели, однако цветочные корзинки в целом радовали глаз нежным и свежим разноцветьем — горели под хмурым небом белым, синим, красным пламенем. Художник неторопливо, с разбором, выбирал их и осторожно срывал. У меня почему-то сжалось сердце, и я отступил за угол домика.

Аннушкин посмотрел на собранный букет, вытянув руку и откинув голову, долго поправлял и опять придирчиво приглядывался, словно собирался подарить самому близкому другу. Затем медленно пошагал в дальний угол участка. Там он опустился на колени и положил букет на еле заметный бугорок, что-то пробормотал. Я разобрал только одно слово: «Бианка...»

Вот оно как! Этот неприметный бугорок — могилка Бианки, оказывается... И на нее Анатолий Семенович положил последние в этом году цветы... Почему же он не сказал мне правды: не потерялась Бианка, а...

Я, заявившийся сюда не ко времени и не к месту, стоял за углом и не знал, что мне делать — объявиться или уйти тотчас вон? Потерялась Бианка, — сказал мне Аннушкин. Конечно же, ему тяжело было бы объявить о том, что не потерялась она, а что ее не стало...

Он встал с колен, отряхнул с брюк налипший снег и зашагал к домику. Я все еще стыл на месте в растерянности.

Поравнявшись с клумбой, Аннушкин приостановился и опять заговорил — на этот раз с цветами:

— Выстоите ради Бианки наперекор всем морозам?.. Держитесь, держитесь... Через день-другой я вновь приду и укрою вами могилку Бианки...

Я быстро повернулся и вышел в калитку, зашагал прочь по улице. И тут же услышал за спиной голос Анатолия Семеновича:

— Сергей Андреевич, погоди-ка...

Я остановился.

— Не меня ли ты ищешь? — спросил он, выходя из калитки.

— Да ходил на берег посмотреть, цела ли лодка. Есть у меня лодчонка старая... И вот... по пути...

— Ты... кажется, все понял?? — кивнул Аннушкин в сторону своего участка — Все понял и решил потихоньку смыться, так?

— Не буду врать, Анатолий Семенович, все так и есть, — признался я. — И все же... как это случилось? Как она, Бианка... это... погибла?

Он тяжело вздохнул, минутку постоял молча и начал свой горестный рассказ...

III

Придя однажды в сад, он сразу же увидел выбитые оконные стекла. Недоумевая, открыл дверь. Внутри все было перевернуто, побито, переломано. Подушки разорваны, перо выпущено. Сорваны со стен и брошены на пол картины. Мало того, — из погребка были вытащены банки с вареньем, разбиты и размазаны по постели.

— Вот полюбуйся, Бианка, а? — заговорил Аннушкин с застывшим на пороге щенком. — Представляешь, какие изверги еще встречаются в жизни? Ладно, слезы лить не будем. Что для нас вещи — сегодня они есть, завтра их не станет. А вот когда исчезнут честь и совесть, это будет по-настоящему страшно, ой, как страшно, Бианка... Это же они не над нашим барахлишком поиздевались, над своими душами насмеялись, сами себя в грязь затоптали, сами себя изгадили. Вот так мы это квалифицируем, Бианка, не так ли?

Аннушкин распилил две длинные доски, припасенные для парника, на равные отрезки и плотно, без просветов, заколотил снаружи окна. Отступив подальше, любовался сделанной работой, как законченным эскизом.

— Как тебе теперь нравится наш домик? — спросил художник у Бианки, не отстающей от него ни на шаг. — Не-ет, никакого вида у него не стало. Вот этого и добиваются изверги. Увидят молодое деревцо — надо вырвать с корнем, светит уличный фонарь — разбить, сел в уютное кресло — изрезать, исполосовать. Из-за таких мы возводим заборы повыше, приобретаем замки покрепче, прорубили окно — тотчас забиваем толстыми решетками. Ну, ладно, друг мой, хватит о них распространяться. Этот мусор не стоит тех слов. Лучше давай-ка спустимся к Волге, разведемся.

Как-то был уже момент, когда Анатолий Семенович подумал было продать садовый участок. Мысль эта, как народившийся ветерок, коснулась краешка души и тут же улеглась. А после этого

случая с разорением домика мысль о продаже не только взвихрилась, но и, что называется, втемяшилась.

— Все, Бианка, продаем сад, — сказал Аннушкин по пути домой. — Дети уже неохотно ходят туда, матери с ее большими ногами совсем немогуту. Продадим и у непутевых не будет повода издеваться над нами.

Дома он поговорил с женой и детьми, те не стали возражать. И тогда Аннушкин отправился в бюро объявлений.

Желающий купить дачу нашелся быстро. Он позвонил по телефону и пожелал хоть сейчас встретиться на месте. «Что ж, будь по-вашему, — согласился Аннушкин. — Я уже собираюсь. Не задерживайтесь и вы». И объяснил, как добираться до сада, назвал номер участка.

Из-за припустившего дождя Анатолий Семенович не хотел брать с собой Бианку. Однако та первой оказалась у двери, заскулила, уставилась в глаза, и хозяин не решился отказать ей в удовольствии прогуляться.

И в этот раз она как никогда раньше кидалась вслед машинам, и ее звонкий заливистый лай не могли заглушить рокотом даже множества моторов. Не пропускала она ни одну машину, заезжающую на нефтебазу и выезжающую с нее, за каждой гналась до изнеможения. А дождь все моросил и моросил. Асфальт маслянисто отсвечивал. Бианка в момент забрызгалась грязью до неузнаваемости. И все же Анатолий Семенович хотел взять ее на руки, чтобы благополучно миновать этот оживленный, самый опасный участок дороги. Но сколько ни гонялся за ней, как ни приманивал, ни подзывал к себе, пробовал и пригрозить, Бианка не давалась в руки, близко даже не подпускала. «Некогда, хозяин, не успеваю! Сейчас ли мне на твоих руках нежиться — вишь, сколько их туда-сюда бегают!» — как бы говорил весь ее вид, деловитый и горделивый.

Конечно же, поймал бы ее Аннушкин, обязательно поймал, да тут какой-то прохожий остановил его, спрашивая, как найти лесобазу. Наскоро показав ему дорогу, Аннушкин обернулся в ту сторону, куда на этот раз помчалась Бианка, и увидел ее, растерянно отступающую перед встречным бензовозом... Шофер намеренно чуть повернул машину... И осталась Бианка лежать на обочине, лишь сделав одну слабую попытку поднять голову...

— Бианка!!! Малышка!!! Золотко... что с тобой?! — не помня себя побежал в ту сторону Аннушкин. Поднял Бианку на руки, а она была уже бездыханна.

Шофер поодаль остановил машину, выглянул из кабины и тут же умчался.

Шел Анатолий Семенович посредине дороги, прижимая к груди обмякшее тельце Бианки, и не верил случившемуся, не хотел

верить. Ведь всего несколько минут назад она лежала дома на диване и зорко следила своими мудрыми глазами, кто куда идет, кто что говорит, и если не вмешивалась ни во что, то только потому, что не умела говорить.

— Крошка ты моя... не уберег я тебя, цветочек ты мой, не уберег...

Встречные люди, поравнявшись с Аннушкиным, сочувственно смотрели ему вслед, придерживая шаг. Даже машины сбавляли скорость, некоторые даже останавливались. Слышались соболезнующие слова шоферов. Не все они, оказывается, изверги...

Войдя на свой участок, Анатолий Семенович положил трупик Бианки на лужайку перед домиком. Здесь, на солнцепеке, где трава густа и высока, Бианка в особенности любила играть и отдыхать. Она то затевала прятки с самой собой, то кувыркалась до изнеможения, то ползала на животе, а устав окончательно, сворачивалась клубком и безмятежно засыпала. Сон ее обычно был недолг. Просыпаясь, она сладко зевала, прилежно потягивалась и... исчезала.

— Бианка! Оставь туфлю, Бианка! — тут же доносился с соседнего участка женский вскрик. — Вы только посмотрите на нее, туфли ей понадобились!

Разоблаченный «воришка» бросал свою «добычу», мчался со всех ног на свой участок и с безопасного расстояния внимательно, переваливая голову с плеча на плечо, прислушивался к переговорам хозяина с соседкой.

Открывая лето, Анатолий Семенович впервые вывел Бианку на Волгу. Та долго смотрела на странные подвижные существа, чередой набегающие на берег, и вдруг с лаем кинулась им навстречу. Однако водная стихия не дала ни пройти по себе, ни поиграть со своими волнами — накрыла смельчака с головой. Взвигнув, Бианка стремглав выскочила на берег. Вприпрыжку лаяла потом на шаловливые волны, не захотевшие принять ее в свою вроде бы компанейскую игру. Все более смелая, она допрыгивала до пенной каемки прибоя и, обстоятельно обнюхав, попробовала на зуб пышную пустоту пены.

Затем они, минуя лестницу, не затрудняя себя поисками каких-либо тропок, полезли напрямик по глинистому обрыву. Казавшийся снизу пологим, обрыв вдруг превратился в почти отвесную крутизну. К тому же, выветрившаяся глина была рассыпчата и ручьями стекала вниз, едва до нее дотронешься.

«Вот тебе и на! Кажется, и устал уже?! — подумал Аннушкин, почувствовав слабость и дрожь в коленях. — Вот напасть! Если уж сейчас обессилел, как наверх взобраться?!» Он оглянулся назад и еле-еле удержался на месте: кусты внизу, лодки на берегу да и сама Волга стремительно двинулись в сторону.

«Ну, братцы, так недолго и камнем скатиться вниз! — не на шутку встревожился Анатолий Семенович. — Хоть бы кустик какой, корешок попался, за что можно было бы ухватиться и перевести дух. Вот влип! И кто заталкивал меня на этот крутик? Ужель и при седом волосе сохраняется в человеке детское легкомыслие и глупость...»

Как ни трудно приходилось, Аннушкин все еще прижимал Бианку одной рукой к груди, а другой хватался за коварную текучую землю. Она принялась уже обваливаться целыми пластами, а потом уже рассыпаться.

— Ну, Бианка, — сказал тогда Анатолий Семенович, — больше я не могу нести тебя. Для нас начинается игра в восемь конечностей. Тут мы уравнились с тобой. Давай, двигай самостоятельно, не отставай, будь молодчиной.

Бианка, и впрямь, не отставала, то и дело заглядывая в глаза хозяину, упорно ползла вверх почти на животе, что называется по-пластунски.

Взобравшись, наконец, наверх и выйдя на чей-то участок, Аннушкин упал под рябину на меже, прижал к лицу доверчивый белый клубок и долго ласкал его, наговаривая самые ласковые, самые нежные слова. Его тронула беззаветная преданность Бианки: ведь не осталась скулить на полдороге, не скатилась вниз и не бросила хозяина, спеша спастись, а поползла вверх вместе с ним голова в голову!

И долго сидел Анатолий Семенович на лавочке возле домика свесив голову, не сводя глаз с недвижной Бианки, все вспоминая отдельные моменты из ее такой короткой, но чем-то очень славной жизни.

Глаза Бианки не были закрыты полностью, и в этом прищуре смятенному душой Аннушкину читалось: «Не послушалась я тебя, добрый человек, и тем сгубила себя да и тебе принесла такое горе... Прости уж, пожалуйста!»

Анатолий Семенович закрыл ей веки, и исчезли столь милые до сих пор черные бусинки.

Художник с болью перевел дыхание и сам заметил: не вздох вышел, а чуть ли не стон. Встал на ноги, осмотрелся вокруг и опять сел.

Дождь перестал, небосвод немного посветлел. Из-за Волги плыли громоздкие тучи, деревья стыли в неподвижности, ветра не было, так, еле ощутимая тяга порывами касалась лица. Издали донесся слабый, прерывистый пароходный гудок. На соседнем участке сварливо переругивались воробы.

Время шло. Аннушкин все еще сидел около бездыханной Бианки. Все еще выплывали из-за Волги лохматые тучи, не спеша

плыли, уйдя в свои думы... Не плывут ли они сюда проститься с Бианкой? Не прощаясь ли с нею, так притих белый свет? Нишкни все, склони голову! Это лежащее на зеленой травке окованное существо совсем недавно было частицей этого огромного мира. Каким бы ты огромный ни был, каким бы просторным и всеильным ты ни был, великий мой мир, ты весь состоишь из таких вот крохотных существ, ими богат, ими красив, и безвременная кончина любого из них должна быть для тебя невосполнимым уроном...

Анатолий Семенович взял лопату и пошел в дальний угол участка, между кустами вишни и крыжовника начал копать ямку. Земля здесь была рыхлой, хорошо унавоженной. «Вот так, дружок мой, будешь лежать тут, и пусть земля эта будет тебе пухом!» — подумал художник и неожиданно всхлипнул, как с ревом уснувший ребенок.

Невдалеке послышались чьи-то голоса. Аннушкин обернулся в сторону калитки и увидел двух долговязых мужчин, озирающихся по сторонам.

— Вот она, эта дача! — сказал один. — Видишь, номер? А вон и хозяин!

В сад вошли двое верзил средних лет. Должно быть, близнецы: оба узкоплечие, длиннотелые, рыжие, веснушчатые, оба в одинаковых серых нейлоновых плащах, резиновых сапогах, только и разницы в них — у одного на голове кожаная шляпа, у другого армейская фуражка с надломленным козырьком. Они небрежно назвались и с приговором «так-так» обошли весь участок, побывали в домике. Тот, что в фуражке, закончив осмотр, рывкнул как в медную трубу:

— Сколько заломил? Покупатель я. По телефону я говорил.

Анатолий Семенович сидел на лавочке. Он сел сюда, когда пришли эти дылды, так ни разу и не сдвинулся с места.

— Уже не продаю, — сухо сказал он, не поднимая головы.

— Ка-ак это?! — в один голос взревели близнецы.

— А так вот... Передумал...

— Ну и шутки у тебя! — всхотнул тот, что в фуражке. — Не ради же шутки мы прогулялись в такую даль? И здесь, в саду, битый час искали тебя.

— Не продаю... Простите, пожалуйста...

— Э-э, Кузьма, да у него горе... — сказал тот, что в шляпе. — Вон — собачка ножки протянула...

Они подошли к трупике Бианки и постояли молча.

— Жаль, — сказал близнец в шляпе. — Хорошенькая была. Похоже, и не подросла еще как следует. Не под машину ли попала, бедняжка?

— Машина сбила.

— Жаль, жаль, — покачивая головой, близнец в шляпе подсел

к Аннушкину. — Однако ты-то уж очень не убивайся. Не воскресь ее этим...

— Ха, сыскали горе! — близнец, названный Кузьмой, тряхнул ногой и запустил далеко в сторону ком грязи, налипшей на сапог. — Еще и из-за сдохшей собаки вешать голову! За десять лет работы шофером я сам передавал их не знаю сколь десятков. Из-за собаки я никогда не сбавлял скорости, не отворачивал машину. И впредь буду давить: нечего шлендаться на дороге!

Резко и пристально взглянул на него Аннушкин и ему показалось, что Бианку задавил не кто иной, как этот конопатый верзила. Сделал свое черное дело, а теперь вот приперся покупать сад...

Мысль о продаже сада Анатолий Семенович выкинул из головы еще давеча, едва начал копать могилку для Бианки. «Здесь ты появилась на свет, моя малышка, здесь ты росла, вживалась в этот огромный мир, здесь теперь тебе и быть всегда... И летом, и осенью, и зимой, и весной — всегда-всегда!» — приговаривал он, копая ямку. Но даже если бы еще тогда не раздумал продавать сад, раздумал бы теперь — ни за какие деньги не продал бы этому человеку.

— Ты погоди, Кузьма, давай говорить ладом! — досадливо сказал близнец в шляпе. — Что о тебе подумает товарищ? Скажет, вот непутевый человек... Автомобиль ли, трактор ли — это все машины. Какими мощными они ни были бы, давить живых существ они не должны. Жизнь любого существа — благо, а машина — это только орудие для облегчения жизни. И пусть машина в твоих руках никогда не опрокидывает живое существо. У машины в твоих руках нет права быть выше живого.

— Ну, еще один завелся! — захохотал Кузьма. — Ха-ха-ха! Для тебя, Иван, даже дохлая собака — повод пофилософствовать!

— Ты дурака из себя не строй! — повысил голос Иван. — Человек, не способный задуматься, — человек ли вообще? Вот увидишь, выйдет в будущем, будет такой закон — держать ответ за каждую загубленную собаку или кошку. Это будет одна из многих мер, призванных удерживать равновесие на чашах весов, где на одной — природа, на другой — цивилизация.

Он примолк на минутку и заозирался по сторонам.

— Как тихо и красиво, а! — сказал он, шурясь. — Ни в кои веки не налюбоваться этим белым светом. Поэтому мы и любим его, потому и стараемся изо всех сил жить.

Он еще раз бросил взгляд на Бианку, вздохнул и медленно поднялся на ноги.

— Пойдем, пожалуй, Кузьма. Пошли...

— Нехорошо ты сделал, ай-яй, как плохо, — глядя на Аннушкина, покачал головой Кузьма. — Несерьезным человеком

выказал себя. Голова, вон, уже седая, а ведешь себя, как мальчишка. М-да-а...

— Ты говори, да не заговаривайся, Кузьма! — осерчал Иван. — Ты что, не видишь, здесь захоронить хочет он собаку! И после этого продаст ли он кому бы то ни было свой сад? Я и сам ни за что бы не продал!

И они ушли.

Хотя и начало смеркаться, Аннушкин не спешил закопать Бианку. Он повыдергал из парника огуречную ботву, собрал в одну охапку и отнес ее в овраг. Из бака выпустил всю воду. Собрал с помидорных грядок колышки и сложил под веранду. Ему не хотелось расставаться с Бианкой и потому он находил себе работу за работой, тянул время. Между делом нет-нет да поглядывал на трупик Бианки, а то и присаживался на лавочку, вполголоса бормотал:

— Мало пожила, крошечка, очень-очень мало... Всего одно лето — разве это жизнь...

Только когда ночь накрыла всю округу, Аннушкин завернул трупик в старую кофту и аккуратно уложил на дно ямки. Как ни крепился он, как ни попрекал себя: «И вправду, пожалуй, нет на свете другого такого человека, очень уж переживающего из-за гибели собаки», — все же он не выдержал рези в глазах, закрылся локтем и дал волю слезам.

В небе мерцали редкие-редкие звезды, на земле стояло глухое безмолвие. Немного погодя из-за туч выползла луна, расстелила меж яблонями узорчатое светлое полотно. Анатолий Семенович лопатой сбил-выправил холмик, выпрямился.

— Вот здесь навеки ты и успокоилась, моя беспокойная крошка, — сказал он про себя. — Лежи... Пусть пухом будет тебе родная земля...

Он огляделся по сторонам и, увидев призрачный лунный свет, со стоном стиснул зубы: «Раньше, бывало, с Бианкой возвращались домой при луне и были оба счастливы, теперь вот придется одному идти...»

Домашних, чтобы не расстраивать их, он заверил, что по дороге потерял Бианку. Но и этого оказалось достаточным для горя: дочь залилась горячими слезами.

Прошло дня три, однако Бианка не выходила из сердца Анатолия Семеновича, даже в сновидениях участвовала она одна. Насупился художник, замолчал, полюбил свое одиночество. Сидел ли он в своей комнате, накинув на плечи халат, уходил ли куда-то по делам, — неотступно думал только о своем погибшем маленьком друге. Вернувшись тогда из сада без Бианки, он думал уберечь родных от излишних переживаний и сказал им неправду. Теперь он болезненно переживал оттого, что домашние даже не

вспоминали о Бианке. «Разве она была для нас всего-навсего рядовой собачонкой, чтобы так быстро забыть ее? Была жива — была хорошей игрушкой, а сейчас с глаз долой — из сердца вон?!» — переживал Анатолий Семенович.

Думая так, он уж готов был зло упрекнуть своих, но однажды за окном, на улице, звонко залился чей-то щенок, и к окну стремглав бросились и мать, и дочь с сыном, постояли-постояли у окна и угрюмо, молча разошлись по местам: нет, не наша Бианка... И только тут понял художник: живет Бианка в душе каждого из них, и помалкивают они только потому, чтобы не расстраивать излишне друг друга...

В воскресенье Аннушкин заглянул на базар. Хотелось приобрести щенка, неотличимо похожего на Бианку, принести его домой, а вместе с ним — и прежнюю радость, прежние заботы, напроочь развеять печаль, воцарившуюся в квартире с исчезновением Бианки. Однако ни один щенок не приглянулся, не пришелся по нраву, и выпало вернуться домой с пустыми руками. Позже это даже обрадовало: «Вернувшись с базара с новым щенком, Бианку забыть, из сердца выкинуть, значит?! Ишь, чего захотел!»

IV

Мы с Анатолием Семеновичем ходили по двору взад-вперед от одного угла длинного до дома до другого. И разговор наш, начатый еще в саду, все не прерывался, все не иссякал.

— Если хочешь знать, — говорил художник, заложив трость за спину, — многое передумал я за это время — о природе, о жизни. Снова и снова вставали перед глазами картинки былого: карабканье Бианки в гору, ее наскоки на набегающие волны, ее обиженно-огорченный вид при малейшем повышении на нее голоса, и я без конца говорил себе: «Как дорога, как хороша ты, жизнь! И никакой мерею, ни на каких весах не определишь, не взвесишь твою ценность, жизнь!»

Аннушкин замолчал, прошел сколько-то в задумчивости и заговорил в еще большем воодушевлении:

— И вправду, какое это счастье — видеть восход солнца, пробивающийся росток, первый пушистый снегопад, слышать перезвон нетерпеливого ручья, какое счастье, говорю я, все это видеть, слышать, ощущать! И не для одних тебя и меня, а для всего-всего живого счастье это. Если я все горюю о Бианке, этой бессловесной горемыке, не значит ли это, что столь крепки узы между всем сущим на земле, так нужны друг другу все существа, все растения?

Человек наделен разумом, благодаря чему и сильнее всех. Значит, и в любви своей ко всему сущему он обязан быть и

умнее, и сильнее, имея в виду и настоящее и грядущее жизни, и целостность, и безопасность ее. Можно ли высчитать, скажем, какую пользу приносят человеку те или иные растения? Можно ли хоть какой-то мерой тут воспользоваться?.. А вот что делает иной человек для того, чтобы сохранить и приумножить богатства природы? Ровным счетом ничего. Для него одного нужны все сокровища природы. Человек с такой душонкой если и сажает дерево, если и сеет что-то, сажает и сеет только для своих нужд. Если человек прежде всего думает только о том, что ему одному надо, если в душе его свила гнездышко подленькая мысль: «Лишь бы мне самому успеть пожить!», то не примется как следует посаженное им дерево, не дадут ростков его посевы, ни одна сделанная им вещь не будет иметь души. Сейчас, когда шум моторов становится все мощнее и оглушительнее, когда стены из стекла и бетона все выше взмываются к небу, великую взаимосвязь всего сущего в природе надо ощущать с особой обостренностью и стараться с величайшей предупредительностью укреплять именно те звенья, которые ослаблены и готовы вот-вот оборваться. Величайшую из человеческих loves — любовь к жизни — можно понять и принять только тогда, когда она взаимна, то есть, когда природа отвечает тебе тем же, благодарная за ее укрепление, за ее сохранение, за любовь и заботу о ней.

Слушал я эти слова Аннушкина, и мне казалось, что это я говорю сам с собой, что это мой внутренний голос звучит наконец-то во всю свою силу, это мои мысли приобретают крылья и вылетают в просторы мира.

Мягкий пушистый снег повалил густо, и мы вмиг превратились в белых медведей. Поневоле нам пришлось спрятаться под навес над подъездом и здесь отряхнуться.

— Город разрастается на глазах, невиданно растет мощь индустрии, и вместе с тем люди все больше и больше тянутся к живому. Замечаешь это? — спросил Аннушкин и сам же ответил: — Замечаешь, конечно... Так оно и должно быть. Потому что человек хочет видеть не только бесконечные кварталы массивных домов, хочет слышать не только голоса машин и заводские шумы, он хочет знать, что есть на земле и другие существа, он хочет жить вместе с ними или рядышком, хочет ощущать себя не только царем природы, но и одной из частиц ее. Поэтому я уже не удивляюсь тому, что многие в своей квартире устраивают дендрарии или живые уголки.

Анатолий Семенович примолк на минутку и, наблюдая за снегопадом, заговорил стихами:

Человек — хоть будь он трижды гением —
Остается мыслящим растением.

С ним в родстве деревья и трава.
Не стыдитесь этого родства.

— Стихи Маршака. Я то и дело повторяю их в эти дни... — Он взял меня за локоть и близко заглянул в глаза: — Может, подыдемся ко мне? Сразу надо было пригласить, да вот — забыл за разговорами.

— Спасибо, Анатолий Семенович, — возразил я. — И за приглашение, и за все твои сегодняшние слова — большое спасибо! Отныне все вокруг видится мне по-другому, будто додумал давно начатое... Да вот беда, мои домашние, наверное, уже улеглись спать, загулялся я...

— Тогда хоть провожу тебя... Вот из-за этих беспокойных мыслей я и забраковал все написанное мною до сих пор. Для меня теперь оно, все мое прежнее, не что иное, как сделанное бездумно, поверхностно, без проникновения в самую суть.

Где-то залаяла собака, Анатолий Семенович остановился как вкопанный и, поворачивая голову туда-сюда, внимательно прислушался.

— Вот и полюбуйся мной таким, — вздохнул он. — Где бы и какая собака ни залаяла — придиричиво прислушиваюсь и сравниваю: не похоже ли на Бианку? Или иду на собачий лай и стараюсь увидеть ее и опять сравнить, где схожесть, в чем разница. Ругательски ругаю себя за то, что не нашел времени сняться вместе с Бианкой, хоть бы фотокарточка осталась навеки... Пытаюсь иногда по памяти набросать ее на холсте. Немало помаялся, уйму краски и много полотен испортил — нет, не получается нужное! В глазах одна Бианка стоит, на холсте другая выходит. Напоследок показалось, нашлось искомое, но — опять соскоблил... Сидит немолодой человек в пасмури осеннего пейзажа, — заговорил художник о своей отвергнутой картине. — Перед ним белопенная собачка лежит. В лице человека — сомнения, неизгладимая вина, горе. Кругом — потерявшая летнюю красу природа. В подписи к картине одно-единственное слово: «Трое».

— Почему «Трое»? — торопливо спросил я и тут же сказал: — А, понял: человек, животное и окружающая среда. Не так ли?

— Мог ли я показать народу такую картину? Нет и нет! Пусть пока что наметилось ослабление связей между человеком, живыми существами и растительностью. До сих пор все человеческие меры, предпринимаемые в защиту окружающей среды, отстают от поступи цивилизации, и это, признаемся, еще не до всех нас доходит. Но ведь все это еще не означает, что оно должно вызывать в нас чувство безнадежности. Человек — силен, умен. А коль так, его силы и ума должно хватить не только для защиты природы, но и для дальнейшего ее обогащения. Вот такую силу и разум, надеясь и уповая на них, мы и должны восхвалять!

Весна. Я опять спешу в художественную галерею. Там открылась традиционная Весенняя выставка.

И едва я вошел в первый зал, в глаза мне бросилась картина Аннушкина.

В простой некрашеной раме — готовый вот-вот расцвести и распространить по округе медовый дух, весенний сад. Под яблоней стоит... милая забавная Бианка. Сейчас она смотрит в глаза хозяину, но, чудится, того и гляди повернется сюда и, заметив меня, зальется своим звонким серебряным голоском, легко выскочит из рамы. Если и не мне навстречу, к кому-нибудь другому прибежит она и, в ожидании ласки, хоть перед кем исполнит свой ритуальный жизнерадостный танец. Хозяин ее — немолодой мужчина — в одной руке держит лопату, в другой — саженец. Он смотрит на Бианку влюбленно, в доброй улыбке и что-то говорит ей. И чудится, к его словам прислушиваются и деревья, готовые сами вступить в разговор. В изгибах ветвей, в трепете прозрачного воздуха, в лучах жаркого солнца — во всем, во всем видится, ощущается идущая из глубины веков дружеская взаимосвязь между человеком и всем сущим на земле, нерушимая сущность природы, неколебимая сила и красота ее...

Нагнулся и прочитал я название картины: «Трое».

Перевел Л. Александров

1 р. 40 к.

дружба

ЧУВАШСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО